

Die Falle  
**РИХАРД ГЛАЦАР**

ЛОВУШКА С ЗЕЛЕНЫМ ЗАБОРОМ

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫЖИВШЕГО ТРЕБЛИН

12+

Рихард Глацар  
**Ловушка с зелёным забором**

«ЛитРес: Самиздат»

1992

## **Глацар Р.**

Ловушка с зелёным забором / Р. Глацар — «ЛитРес: Самиздат»,  
1992

«Ловушка с зеленым забором» Рихарда Глацара — книга воспоминаний выжившего из фашистского концлагеря Трешлинка — крупнейшего, наряду с Освенцимом, центра уничтожения людей в годы Второй Мировой войны.

## **ЗВЕЗДЫ ЗАПАЧКАНЫ ПРАХОМ ЗЕМНЫМ**

Начало 1940 года. «Посещение неарийцами не желательно». Самые рьяные уже повесили в Праге над входом в свои кафе такие надписи, еще до того, как в оккупированной Чехословакии был издан приказ вывешивать официальную табличку «Евреям вход воспрещен» на дверях всех ресторанов, пивных и кабачков, театров и кино.

Несмотря на это, я хожу в кино, хотя и не так часто, как раньше. Разумеется, тайком, дома об этом не должны знать. Иногда в кино еще показывают фильмы, которые, собственно, уже нельзя показывать, которые скоро будут запрещены. В кинохронике – воздушный налет японцев на китайские города. Бомбы падают и взрываются, дома рушатся, повсюду огонь и дым, вой моторов и сирен. Посреди площади в каком-то городе стоит на коленях молодая китайка. Снова и снова она приподнимается, воздевает руки к небу и опять падает на почти раздетого, залитого кровью младенца. Снова и снова обвиняет она убийц. С этого дня Mater Dolorosa, Матерь Скорбящая, – а ее изображений много в барочной Праге – всегда напоминает мне эту молодую китайку.

Действие американского фильма «Шангри Ла – потерянный рай» происходит в затерянной долине в Гималаях. Там, среди вечной весны, живут люди разного происхождения. Они в меру грешны, в меру сластолюбивы и могут долго наслаждаться жизнью, потому что в этом климате люди живут по несколько сотен лет. По вечерам, лежа в постели, перед тем как заснуть, я уношусь отсюда в Шангри Ла.

Но нет, не в Шангри Ла, бежать через несколько недель приходится в глухую деревню. Прочь из Праги, подальше от опасности, так решили родители. Я должен работать здесь за стол и жильё столько времени, сколько будет возможно. Это были последние слова, которые они мне сказали. Говорят, их вывезут из Праги осенью 1941 года. Они заказывали телефонный разговор с уведомлением. Целый час я буду идти через лес в городок на почту. Родители в Праге тоже звонили с почты, потому что иметь дома телефон им было уже запрещено.

В деревне, высоко над стремнинами Влтавы, моими товарищами днем были две рабочие лошади, а вечерами – книги. Желтую звезду с надписью «еврей» я прикреплял в тех редких случаях, когда мне приходилось спускаться в городок, например, чтобы отвезти зерно на мельницу. Люди там вовсе не злы, но слишком много болтают, может быть, им просто интересно увидеть, что будет с евреем, если его заметят без звезды. Немцы уже многое заметили только потому, что люди болтали слишком много. Молчание – золото, болтовня – гестапо.

Там внизу я встречаю и других людей со звездами. Почему старшие все время говорят, что они гордятся своими звездами, что носят их с достоинством? Шагая с поводьями в руке рядом с телегой, я иногда ловлю себя на том, что все время немного прикрываю желтую звезду. Незаметно я разглядываю людей вокруг, выискиваю уродливых, покрытых шрамами, косых, хромых, горбатых и прикидываю, с кем я хотел бы поменяться местами, а с кем – нет. Это хорошая игра.

Вечером, устроившись в своей комнатке, которая служит мне одновременно и гостиной, и спальней, я читаю про древнюю Корею, страну маленьких поэтов, завоеванную и поработанную японцами: «Растоптаны прекрасные посевы, / превратились в болота тропинки, / звезды запачканы прахом земным».

И я говорю себе, что все уже однажды было.

## **СО СКОТОМ ОБРАЩАТЬСЯ Я УМЕЮ**

«В другое гетто на востоке» – так было записано в распоряжении о переводе. Код эшелона – Ви. Мой личный регистрационный номер – 639. Прошло всего четыре недели с тех пор,

как меня депортировали в гетто Терезин в протекторате Богемия и Моравия. Там у меня был номер Bg-417.

В начале сентября 1942 года они все-таки схватили меня в этой глухой дыре. И даже в Терезине мне не дали освоиться.

– Я должен доставить туда тысячу голов, тысячу, не меньше и не больше. И если кто-то на ходу высунет голову – буду стрелять! – Охранник в ядовито-зеленой форме полевой жандармерии кричит так, чтобы это услышала тысяча людей, согнанных на платформу в Терезине.

Поезд останавливается часто и стоит, особенно ночью, подолгу. На третье утро мы понимаем по надписям, что должны быть где-то в Польше. Вскоре после полудня мы снова останавливаемся. Видно здание железнодорожной станции с надписью «Треблинка». Часть вагонов отцепляют. На изгибе путей видно, как передние вагоны сворачивают на одноколейку. С обеих сторон – лес. Поезд движется совсем медленно. Можно разглядеть отдельные сосны, березы, ели.

Лес становится реже, все оживляются, прижимаются к закрытым или едва приоткрытым окнам, но никто не решается выглянуть. Высокий зеленый забор, открытые ворота, через которые не спеша проезжает наш вагон. Почти 4 часа по полудни, 10 октября 1942 года.

– Выходить, всем выходить, быстрее! Тяжелый багаж оставить в поезде – его потом принесут!

Перрон, за ним – деревянный барак, на перроне люди в сапогах, но в гражданской одежде. У одного в руке какая-то длинная, странная штука – кожаная плетка. Должно быть, это обычные люди, не евреи, на них нет желтых звезд. Кое-кто в эсэсовской форме, тоже с плетками, а некоторые – с автоматами. Напоминает городок на диком Западе, а позади – ферма с высоким зеленым забором. Забор такой симпатично-зеленый, наверное, это большая ферма, и там много скота – а со скотом обращаться я умею. С перрона нас ведут на плац. С обеих сторон – ряды деревянных барачков.

– Мужчины – направо, женщины с детьми – налево! Багаж на землю! Раздеться – догола!

Некоторых – совсем раздетых или полуодетых – отводят в сторону. Теперь они одеваются. Наверно, их отправят дальше. Это лучше? Или хуже?

– Документы и часы взять в руки!

Рослый эсэсовец что-то объясняет, сопровождая свою речь резкими жестами. Я стою далеко и ничего не слышу. Что? Мыться, а потом сразу на работу? Я, раздетый догола, стою в конце очереди. В такую погоду мне совсем не хочется мыться. Эсэсовец в пилотке быстро проходит вдоль очереди. Уже пройдя мимо и едва скользнув по мне глазами, замедляет шаг. Вот он останавливается, смотрит на меня через плечо, а потом и совсем поворачивается ко мне:

– Ты тоже выходи. Одевайся, быстро, встань туда, к тем. Звезду долой, часы и нож нельзя, так... Будете работать тут.

Постараетесь – сможете стать бригадирами или капо. А сейчас – за работу!

Я иду назад, сквозь прикрытые зелеными ветвями ворота, за углом – еще одни ворота, эти открыты лишь наполовину. Проходя мимо них, я вижу большой плац, а на нем огромные кучи, прямо горы вещей. И вот мы уже внутри, в бараке. Пахнет деревом, плесенью, снаружи слышен грохот какой-то машины, наверное, это трактор. Повсюду люди в гражданской одежде. Они бегают взад-вперед и тащат на спинах какие-то узлы.

– Это ваш бригадир.

Рослый красивый парень с плеткой в руке и желтой нарукавной повязкой с надписью «Бригадир» жутко кричит на работающих людей. Я не понимаю слов, но по выражению его лица и жестам догадываюсь, что бегающие люди должны разобрать одежду, беспорядочно сваленную на пол барака, рассортировать ее, связать в узлы и унести.

– Послушайте, – я пробую говорить по-немецки. – Что здесь происходит? Где все остальные, те, раздетые?

– Мертвы, все мертвы, а если еще нет, то уж точно через несколько минут. Это – лагерь смерти, здесь убивают евреев, а нас выбрали, чтобы мы им помогали.

Он старается говорить так, чтобы было похоже на немецкий. Многие слова я понимаю, остальное додумываю. Он стоит надо мной на огромной горе одежды, из которой люди в дикой спешке вытаскивают отдельные вещи, дергают, рвут их и куда-то убегают. Я гляжу вверх, на него; он стоит, разведя руки, на запястье висит плетка.

– Ты из Чехии? И ты не понимаешь идиш? Осторожно!

– Он кивает на дверь, где появилась зеленая с черным эсэсовская форма. Жилы на его шее надуваются, загорелое гладкое лицо становится красным, рука начинает раскачивать плетку.

– Давай уже, хватай эти тряпки, шевелись, ради Бога, шевелись, иначе не протянешь и до вечера!

Быстро, быстро что-нибудь делать – как вон тот – или тот. Я вытаскиваю из кучи что-то вроде простыни, разворачиваю ее, кидаю на нее обрывки одежды и хочу все это завязать в узел...

– Больше, больше, узел должен быть больше, если хочешь сюда вернуться!

Я взваливаю узел на плечо и хочу выйти на большой плац. Я уже почти у двери, когда что-то падает мне на голову: полный мешок. Я пошатнулся, с большим трудом удержал равновесие. Снаружи перед дверью прогуливается эсэсовец, в черной форме, в пилотке, очень молодой, по-видимому, очень здоровый, и, улыбаясь, подгоняет нас ударами плетки:

– Бегом, все время бегом!

Ага, здесь надо бегать, шагом ходить нельзя. Я едва успеваю оглядеть огромный плац. Горы одежды, обуви. И повсюду, как и в бараке, снуют туда-сюда люди.

– Бегом, все время бегом! Быстрее, быстрее! – кричат и машут плетками люди в черных и зелено-черных мундирах и другие, с желтыми нарукавными повязками, как тот, в бараке. У одной из куч у меня забирают узел. Когда бегу назад, успеваю прочесть надписи на нарукавных повязках: «бригадир» и «капо».

Что сказал тот парень в бараке? «Мертвы, все мертвы» – все раздетые, голые, все, кто остался за зеленым забором. Я вспоминаю: поезд остановился, а потом медленно, почти со скоростью пешехода свернул к лесу. Справа была просека, за ней открывалась равнина, тянувшаяся до горизонта. Там паслись коровы, а при них – босоногий пастушонок, – ожившая картинка из старого букваря. Он смотрел на поезд. Один из нас крикнул ему что-то сквозь едва приоткрытое окно. На таком большом расстоянии, да еще и по-чешски – мальчик ничего не мог понять. Он только слышал крики и видел вопросительные взгляды людей за стеклами. Пастушонок схватился обеими руками за шею, словно хотел удавиться, выпучил глаза, высунул язык – так мальчишки корчат рожи. На мгновение он застыл так, потом отвернулся и побежал обратно к своим коровам.

Теперь я слышу стук колес: въезжает вторая часть эшелона. А ведь там Карл Унгер со своими родителями и младшим братом. В последнее время в Терезине я всегда останавливался у них, когда проезжал мимо на своей телеге. Он сидел наверху, в своем «убежище», болтал ногами и, казалось, ждал меня. Иногда он меня останавливал. Я загадываю, как раньше, в школе, перед трудной контрольной: «Если они оставят и его, то с нами обоими все будет хорошо».

Я возвращаюсь к своему бригадиру.

– Слушай, а где здесь спят?

– В бараках.

– А как насчет еды? – Что за глупости я спрашиваю...

– Хоть объешься. – Он делает движение рукой, словно хочет обнять меня. Тут же все в нем напрягается, он несколько раз хлещет плеткой по узлам на спинах людей, уже пригото-

вившихся бежать. – Через два-три дня, если еще будешь жив, поймешь, что в Треблинке есть все – все, кроме жизни. Меня зовут Леон. А тебя?

Вводят еще одну группу. В ту самую минуту, когда я разглядел среди них Карла, он уже выкрикивает мое имя. Он немного выбился из шеренги. Он уже все знает, и все-таки в его голосе звучит вопрос, нежелание знать:

– Мать... отец... брат.

К вечеру с нескольких сторон раздаются свистки. Нас всех плетками сгоняют в шеренги по пять человек. Мы маршируем вдоль перрона, вниз по склону в другой барак. Над нами несколько высоких сосен, странно искривленных, их кроны наверху совсем темные. Через окошко выдают жестяные миски и хлеб: этот барак – столовая.

Я жадно пью из кружки черный эрзац-кофе. Он льется через край мимо рта, но я не могу остановиться, не могу оторваться от кружки. Я чувствую жажду, ужасную жажду. Собственно говоря, я уже двое суток ничего не пил. Может, поэтому у меня в голове так пусто, словно мозги усохли.

Нет, у меня в голове торчит палка, если схватить ее за оба конца, то меня можно на ней поднять, подвесить, меня можно на ней опустить на землю, меня можно на ней крутить в разные стороны. Кто-то протягивает мне полную миску и забирает пустую. Но это человек не из нашего эшелона. Мы все стоим здесь вместе, нас примерно двадцать. У того, что дал мне миску, такое выражение лица, будто он рад, что я пришел – вслед за ним, вслед за ними, вслед за другими.

Клиновидную порцию грубого хлеба я бросаю в кучу хлебных кусков разной величины и разных сортов. Темные караваи, беловатые булки с зелеными пятнами плесени, недоеденные батоны, склеившиеся ломти перемешаны с чем-то еще, что раньше было, вероятно, съедобным.

Через какое-то время – снова свистки, нас снова сгоняют в шеренги, снова удары и удары, пока мы не оказываемся в бараке, там наверху, на плацу, где днем нам велели раздеваться. Загорается несколько свечей. Голый пол, повсюду только песок. Все ложатся, куда могут, дерутся за место, спотыкаются друг о друга, падают. Между тем снаружи раздается приказ: «Потушить свет, спать!» На закрывающуюся дверь с крыши барака, стоящего напротив, падает конус света.

Удушающий запах тел, дерева и песка, который теперь отдает накопленное за день тепло. Тысячи иголок вонзаются мне в тело, и меня одолевает зуд. Наверное, в песке полно блох. Слышны вздохи, стоны, кто-то вдруг вскрикивает, крик переходит в вой и рев. Теперь кажется, что кого-то бьют, проклинаят, упрасивают, уговаривают. Ко мне прикасается рука Карла:

– Похоже, кто-то повесился...

Скоро все затихает. А потом среди тяжелого дыхания множества людей раздаются жалобные звуки и слова: «Итгадад веиткадаш». Но я же знаю, что это. Это – кадиш, еврейская поминальная молитва.

## **СЛИШКОМ БОГАТОЕ ВООБРАЖЕНИЕ**

Трудно сказать, скольких они тогда отобрали из тысячи, прибывшей нашим эшелонам, – больше или меньше двадцати. Некоторых я сразу же потерял из виду. Говорят, один в первую же ночь проглотил целую упаковку снотворного. Еще один выбрал тот же путь на следующий день, чтобы в смерти присоединиться к своей жене и ребенку.

Теперь я знаю, что произошло с нашим эшелонам и что происходит со всеми прибывающими сюда эшелонами. Еще до ворот, когда поезд сворачивает на одноколейку, от него отцепляют определенное число вагонов. Иногда туда набито по пятьсот человек, иногда – еще больше. Локомотив медленно тянет вагоны через ворота. Потом происходит то, что я сам пережил:

– Выходить, быстрее! Ручную кладь с собой, тяжелый багаж оставить в вагоне, его принесут потом!

Людей ведут по платформе к «раздевалке». Это – окруженный зеленым забором плац, где мы должны были раздеться догола, чтобы «помыться в целях дезинфекции». Обнаженных женщин и детей ведут в «парикмахерскую», где им, как овцам, стригут волосы. Женские волосы пойдут на изготовление герметизирующих прокладок для моторов. Мужчины, тоже уже раздетые донага, должны тем временем составить ручную кладь, принесенную с собой, в том углу «раздевалки», который находится ближе всего к сортировочной. Эсэсовцы заставляют их бежать. Тогда легкие работают интенсивнее, и потом в газовой камере все происходит быстрее.

Затем всех вместе, обритых женщин с детьми и запыхавшихся мужчин, прогоняют через «трубу» во вторую часть лагеря. «Труба» – это маленький проход из колючей проволоки, который напоминает клетку, через которую в цирке выпускают на манеж диких зверей. Но этот проход длиннее, он изгибается, и невозможно ни выглянуть оттуда, ни заглянуть туда. Колючая проволока переплетена зелеными еловыми и сосновыми ветками. На границе между обеими частями лагеря прямо в «трубе» устроена «маленькая касса». В окошко этой деревянной будки нужно сдать свои документы, часы и украшения. Здесь у евреев отнимают их имена, а немного дальше – обнаженную, безымянную жизнь.

Пока одна группа с эшелона бежит по «трубе», в лагерь въезжают вагоны со следующей группой. За это время уже закончено «мытьё» первой группы, а до того, как вторая войдет в проход, «душевые» будут уже освобождены и готовы принять новую партию. С эшелонами из Дармштадта, из Терезина, вообще с Запада, в которых узники приезжают в пассажирских вагонах, обращаются еще мягко. Кажется, они еще ничего не знают. Люди гонят от себя любое подозрение. Никто не может представить себе своей собственной смерти – вот такой, обнаженной смерти.

Те, кого привозят с Востока, из Варшавского гетто, из Гродно или еще откуда-то, после поездки в битком набитых вагонах для скота прибывают в Треблинку уже полуживыми. Большую часть заталкивают в проход с «душевыми кабинками» по обеим сторонам. Остальных эсэсовцы и украинские охранники загоняют туда плетками. После команды «Иван, воду!» украинец-эсэовец запускает моторы. Из душа вместо воды в камеру поступают выхлопные газы. Примерно через 20 минут готов «конечный продукт», производимый в Треблинке. И другие рабы уже хватают этот раздетый, спрессованный, пепельно-серый с фиолетовым отливом «продукт». Одни выволакивают трупы через широко распахнутые проемы в стенах камер, другие специалисты выламывают у мертвецов золотые зубы. («Зубные врачи, зубные техники и те, кто разбирается в золоте, – в сторону, одевайтесь, вы будете работать здесь...») Еще одна группа рабочих относит трупы в общие могилы. Потом – заключительные технологические процессы: «припудривание» известью и засыпание песком (почва в Треблинке песчаная), – их выполняет непрерывно работающий экскаватор. Это его треск я слышал в первый день.

– Больные и те, кто не может ходить – в сторону! Вы отправляетесь в лазарет на обследование! Старик, ты тоже! И ты, с ребенком!

«Лазарет» расположен в верхнем углу сортировочного плаца вплотную к песчаному валу, это почти ровный квадрат площадью 25 на 25 метров. В него ведет узкий, со многими поворотами проход, похожий на лабиринт в детском арке. Высокие, выше человеческого роста, зеленые стены из еловых ветвей. В конце прохода – маленький домик с эмблемой Красного Креста. Красные кресты на нарукавных повязках кое у кого из работающих там людей. Наконец-то: здесь ты отдохнешь, у этих добрых санитаров. Только потом хромой старик замечает трупы в глубокой яме и эсэовца с автоматом, стоящего над ней. А затем одна-единственная «таблетка», выпущенная точно в затылок, освобождает любого больного, дряхлого, увечного, который мог бы замедлить продвижение в «душ», от всех его болезней.

– Дорогой друг, что с тобой? Ты больше не можешь? Симулянты и калеки нам тут не нужны. Давай, давай, иди вперед!

– Но, господин шарфюрер... господин начальник... я... прошу вас... я...

Страх и просьбы действуют как зажженный запал.

– Ах ты, скотина, мерзкая еврейская свинья. – Автомат в одной руке, в другой – плетка. И вот она уже со свистом опускается на голову и задевает лицо. Руки жертвы рефлекторно поднимаются вверх, чтобы защитить голову. Но рука с плеткой уже приготовилась к следующему удару, на этот раз – в обратном направлении, снизу вверх, прицельно по лицу.

Этот удар заставляет поднять опущенную голову. И две безоружные руки никак не могут попасть в такт движению руки с плеткой. Так оба приближаются к «лазарету». Лицо превратилось в сплошную кровоточащую рану, нос распух, углы рта, из которых течет кровь, низко опущены.

– Раздеваться! – Они уже внутри, в «лазарете». «Самаритянам» приходится срывать с жертвы одежду, ставить ее на край ямы, укрепленный куском дерева. Трамплин в вечность.

Выстрел из автомата или пистолета, и обнаженный человек... Что может сделать такой обнаженный человек? Один приподнимается на носках, словно для настоящего прыжка с трамплина, и опрокидывается в яму. Другой сразу падает и скатывается по склону. Кто-то раскидывает руки, а кто-то дергает ногами. Каждый раз все иначе, одна сцена никогда в точности не повторяет другую. Унтершарфюрер СС Август Вилли Мите, волосы цвета соломы, пилотка сдвинута на затылок, с молчаливой увлеченностью стороннего наблюдателя делает все новые и новые фотографии того мгновения, когда заканчивается жизнь и начинается смерть – этого волнующего, загадочного изменения.

Во время вечерней переключки где-то во второй половине октября дежурный унтершарфюрер докладывает худому, вечно разъяренному гауптшарфюреру СС Кюттнеру:

– Тысяча шестьдесят восемь евреев, из них двенадцать евреек, четырнадцать евреев – в лазарет.

Значит, уже завтра утром они будут выбирать новых людей для пополнения. Каждый раз это вызывает у нас волнение: когда их приведут, когда к ним придет понимание – никто не может этого постичь сразу, никто не может в это поверить. Для этого нужно слишком богатое воображение...

## ТРЕБЛИНКА

Название они позаимствовали у маленькой деревушки, расположенной неподалеку, собственно, просто горстки нищих крестьянских домишек. Ближайшая железнодорожная станция называется Малкия. Это примерно в ста километрах к северо-востоку от Варшавы. Главный железнодорожный путь ведет в Бялысток; в лагерь – отходящая от него одно колея. Повсюду песок, песок, из него растут высокие со сны, покрытые застывшей смолой. Может быть, они выбрали это песчаное место в излучине Буга, недалеко от бывшей русско-польской границы, чтобы было легче выкапывать и закапывать общие могилы.

Весь лагерь занимает площадь примерно 400 на 600 метров. Он окружен высоким – до 2,5 метров – забором из колючей проволоки, которая переплетена сосновыми ветками. Эта стена из зеленых веток сооружена на валу высотой примерно в один метр, поэтому кажется еще выше. Внутри лагерь поделен на различные площадки и помещения, окруженные такими же заборами, чтобы через них ничего нельзя было увидеть – этого требует «производство».

Всем руководят эсэсовцы. У них есть помощники – молодые украинцы, служащие охранниками. А кроме того, у них есть еще мы, нас примерно тысяча, это число постоянно пополняется людьми с вновь прибывающих эшелонов. Между платформой, на которую прибывают поезда, и высоким песчаным валом на другой стороне расположена первая – и большая – часть

лагеря, приемник. За валом находится вторая часть, занимающая не более четверти всей площади, это – лагерь смерти. До сортировочного плаца, самого большого в лагере, еще продолжается жизнь, она громоздит всевозможные предметы в странные кучки, кучи и горы. По ту сторону вала – царство смерти. Те, кто на той стороне вытаскивают трупы из газовых камер и отволакивают их в общие могилы, мертвы в гораздо большей степени, чем мы с этой стороны. Никто, за кем однажды закрылись ворота Треблинки, никогда не сможет вернуться к жизни. Ни для кого из переступивших границу лагеря смерти нет пути назад.

Чаще всего новеньких определяют в те бригады, которые разбирают вещи из эшелонов на сортировочном плацу. Их еще нельзя направить в специальные бригады. В «синие», например, где люди с синими нарукавными повязками встречают эшелоны на станции и должны как можно быстрее убрать прибывших и их багаж с платформы. Или в «красные» – там работники с красными повязками помогают людям на плацу-раздевалке снимать одежду и срывают платья с женщин, отказывающихся раздеваться. Для этого надо быть уже достаточно очерствевшим, многое повидавшим и ко многому притерпевшимся.

В верхней части сортировочного плаца в землю вбиты столбы с дощечками, на них надписи: «хлопок», «шелк», «шерсть», «тряпье». Оттуда до середины плаца нагромождены огромные кучи рассортированных вещей в узлах, перевязанных простынями или веревками.

В нижней части сортировочного плаца навален материал для бригад, занимающихся сортировкой, – вещи с эшелонов, которые принесли «синие» с платформы и «красные» из «раздевалки». Чемоданы и рюкзаки, простые мешки, затянутые веревками, тысячи пар сапог, сложенных черной, неровной, осыпающейся горой; элегантные полуботинки и поношенные домашние шлепанцы, тонкое дамское белье, рваные завшивевшие пальто.

Невозможно представить, что взяли с собой в последнюю дорогу все эти тысячи людей. Чемоданчик, оснащенный как маленькая лаборатория; складная кожаная сумка, а в ней слесарные инструменты; набор шприцов с блестящей коробочкой для стерилизации. Огромная баракхолка, на которой есть все – кроме жизни. Ветер разносит по плацу банкноты – зеленоватые польские золотые, красноватые русские рубли, немецкие марки, американские доллары. Валяются драгоценные камни и золотые украшения, ценности, которые легко нести, медальон в виде золотого сердечка. На красную перину с темными пятнами брошена черная шляпа какого-то раввина, рядом – ножной протез, детский костыль. Мне становится смешно: «Вера – моя опора в жизни», – а вот эта опора будет поддерживать огонь в «лазарете».

Теперь я уже привык к сортировке вещей. Я внимательно наблюдаю, собственно, я прежде всего наблюдаю, и работаю, наблюдая. Постоянно быть настороже, непрестанно ожидать, откуда может прийти беда, откуда раздастся предупреждение – явное или просто понукание; внимательно следить, откуда может появиться фигура в зелено-черной форме с черепом на фуражке, в каком направлении она двигается, когда она обернется, что она сможет увидеть, что означают ее поза и ее жесты. Иногда мне приходит в голову, что я словно бы упражняюсь в этом виде деятельности и в искусстве выживания, что мне доставляет удовольствие оттачивать свое мастерство в этой опасной игре, где на кону – моя собственная жизнь. Тот, кто непрерывно работает в навязанном плетками темпе, кто нагружает на себя как можно больше, кто не умеет почувствовать, когда даже самым яростным эсэсовцам и их подручным на время надоедает нас подгонять, – доводит себя до полного изнеможения. Тот, кто делает слишком большие паузы и пропускает очередной прилив активности охраны, – тоже конченный человек.

Когда мне хочется есть, я выжидаю подходящий момент, забегаю с узлом на спине за кучу сваленных продуктов и набиваю себе полный рот. Никогда за последние два военных года мне не доводилось есть так много масла, шоколада, хлеба. Из другой кучи я вытаскиваю себе рубашку, каждый день – новую, каждый день – от нового мертвеца. Грязную бросаешь незаметно на еще не разобранный кучу или просто в огонь.

– Что, бумаги? Да оторви себе кусок от женской сорочки!

– Новенького в Треблинке узнают еще и по тому, что он спрашивает, где взять бумагу для туалета. Бумаги здесь не так много, как шелка, если не считать деньги. Если они застучают кого-то, когда он берет что-нибудь из кучи для себя, штраф известен: вначале его будут бить, пока не лишат человеческого лица, потом в «лазарете» – смерть голышом. Но так бывает не всегда. Многое зависит от того, кто из эсэсовцев тебя застукал, в каком он настроении, и оттого, был ли он один, или их оказалось несколько сразу. Достаточно, чтобы другой эсэсовец издали увидел, что происходит, и чтобы оба знали о присутствии друг друга. Тогда один начинает избивать жертву, другой присоединяется, и вот уже каждый старается превзойти другого, чтобы доказать, что он «лучше».

Интересно, почему они не выдали нам, заключенным, какую-нибудь одинаковую одежду? С номерами, конечно. Почему нам разрешено носить гражданское, почему нам даже приказали сорвать желтые звезды? Но разве мы еще заключенные, евреи или вообще люди? Нас больше нет, мы больше не существуем, мы мертвы, причем так мертвы, что сами об этом знаем... Стоп, так нельзя, ты не должен так думать – иначе у тебя сдадут нервы, как прошлой ночью у того, которого еще до утренней переключки отвели в «лазарет». А может быть, гражданская одежда должна вводить в заблуждение людей из новых эшелонов, которые могут нас увидеть. Особенно это относится к «синим» на перроне и к «красным» в «раздевалке».

– Тшмай се – держись, ты должен выдержать! – Один из тех, кто часто говорит польски, пустил это слово, и вот оно уже стало приветствием, паролем. Да, вот оно – держись, выпрямись, выстой, найди правильную манеру поведения! Но не так, как снаружи, на воле. На, надень зеленый пиджак к светло-бежевым брюкам! Повяжи на шею шелковый желтый с красным платок! Это на них как-то действует. Одетого так не бьют плетками. А если сегодня это все испачкается или порвется, то завтра ты наденешь что-нибудь еще более лихое, еще более бросающееся в глаза.

Вон те двое, в середине, они сортируют или выбирают что-то для себя? Сразу не скажешь. А вот тот, он просто поправляет сапоги или надевает другую пару, получше? Да, парень, чем ярче блестят твои сапоги, тем меньше ты получишь по морде. Вон там – целая коллекция крема для обуви. Если тебе удастся израсходовать весь этот крем на свои сапоги, то ты можешь дожить до солидного возраста. Только смотри, не перестарайся. Выбирай себе красивые вещи, но все-таки не настолько красивые, чтобы им захотелось иметь их. И, прежде всего, запомни: человек с небритым, измученным лицом прямо-таки напрашивается на удар плеткой и на жуткий «лазарет».

То, что в «лазарете» лагеря уничтожения Треблинка выполняют выстрелом в затылок, в расположенном неподалеку трудовом лагере Треблинка совершают, как говорят, ударом топора. Исправительно-трудовой лагерь существовал здесь уже раньше, и это облегчило сооружение лагеря уничтожения. Уже была железнодорожная ветка к трудовому лагерю, так что понадобилось только проложить несколько метров запасного пути.

Говорят, трудовой лагерь Треблинка был создан еще в 1940 году. Основой для него послужил песчаный карьер. А еще говорят, что для строительства лагеря уничтожения Треблинка в 1942 году использовали заключенных из трудового лагеря. Хороший маскировочный маневр: уже было известно, что Треблинка – это какой-то трудовой лагерь. Рассказывают, что первый эшелон прибыл из Варшавы в июле 1942 года. В то время здесь были только основные сооружения: несколько деревянных бараков, каменное одноэтажное здание с газовыми камерами и машинным отделением, колодец, забор. Тех, кого в течение дня отбирали из эшелонов, расстреливали вечером после окончания работы. Говорят, что тогда эсэсовцы свирепствовали еще страшнее, чем потом, при уже отлаженном производстве.

Постепенно они отбирали из эшелонов плотников и слесарей для окончания строительства, шорников для изготовления плеток, портных, которые должны были шить костюмы и униформы, ювелиров для сортировки золота и драгоценностей и тех, кто должен был выла-

мывать у трупов золотые зубы, молодых людей для обслуживания эсэсовцев и женщин, чтобы было кому стирать белье. Из тех, кто работал на постепенно набиравшем полный ход «предприятии» у газовых камер и на сортировке, лишь немногие прожили не сколько дней.

Треблинка – людям снаружи, в жизни, может показаться, что это слово звучит нежно.

## МОЯ СЛЕДУЮЩАЯ ПИЖАМА

Цепочка согнутых спин, нагруженных узлами, извивается между беспорядочно набросанными горами вещей, не подвергшихся сортировке, и аккуратными кипами уже отсортированных «шерсти», «хлопка», «тряпья». Мелкий песок сортировочного плаца поднимается в воздух и стоит столбом от непрерывного бега сотен ног. А этот человек передо мной, как странно он передал свой узел тому, кто стоит наверху: дотронулся до внутренней стороны его ладони и провел по ней пальцами. Мне любопытно, повторится ли и этот жест и в следующий раз. Да, да – он вложил что-то в его ладонь, когда подавал свой узел. И не только он, так делают еще не сколько человек. Изможденный старик с бледным лицом, покрытым прожилками, который бежит сзади, слегка касается меня:

– Ты – Рихард? А перед тобой – Карл? Чехи? Я Давид. Прежде чем начнете сортировать вещи для следующего узла, задержитесь около меня. Я объясню вам, в чем дело. Мы должны сообщить всему миру...

Вот так Давид Брат, старик с выступающими зубами и длинным носом, открыл нам секрет. Эти двое, что работают наверху кучи с отсортированными лохмотьями и принимают наши узлы, из Варшавы. Они знают местность, да и вообще ориентируются здесь. Они попытаются бежать. Мы должны им помочь. Их задача – сообщить о Треблинке. Рассказать о Треблинке подпольщикам Варшавского гетто. А те потом попытаются передать сообщение через польское подполье за границу – в Англию.

Какое это замечательное чувство: я тоже принимал в этом участие и тайком передавал тем двоим деньги, найденные при сортировке. А им понадобится много денег. Намного больше, чем люди получают за каждого выданного еврея.

Удалось. Со вчерашнего дня обоих нет в лагере. Незадолго до вечерней переключки они спрятались между кучами вещей. Когда нас пересчитывали эсэсовцы, все было уже в порядке. Не то капо Курланд из «лазарета» дал неверные сведения о том, сколько из нас закончили этот день в «лазарет», и просто зависил число на два человека, не то староста лагеря, инженер Галевский, устроил это. Как? Вечером «красные» и «синие» под носом у эсэсовцев направили дополнительно двух человек в группу только что отобранных для работ.

Общее число при дневной и вечерней переключке совпало! Просто между двумя проверками на сортировочном плацу трудились две лишние согнутые спины.

Сегодня утром узлы с лохмотьями укладывают в кучу уже двое других заключенных. Для эсэсовцев все на одно лицо.

А если они все-таки спросят о ком-то, им ответят:

– Господин начальник, господин шарфюрер, вчера господин унтершарфюрер Мите отвел его в лазарет...

Разумеется, нельзя, чтобы вдруг пропал коренастый капо Раковский, или Моник из бригады «синих», или какая-то другая известная фигура. Это должен быть безмянный и безликий человек с сортировки, покрытый пылью, серый от песка, согнутый от постоянного перетаскивания тяжестей.

Приходит большой эшелон из Польши, 5000 человек выгружают в несколько приемов. Для работ отбирают всего одного, одного из пяти тысяч.

Вечером на кухне, когда он сказал, что он из Словакии, ему показали нашу чешскую группу, собравшуюся под большой искривленной сосной. В минуты передышки все собира-

ются в кучки неподалеку от кухни. С кружками и мисками в руках стоят они здесь, евреи из Варшавы, из Ченстохова, из Кельце; маленькая чешско-моравская группка и многие другие. Сегодняшний новичок родом из словацкого Прешова, его зовут Целомир Блох. Можно Цело. Он сюда прибыл вместе с женой. Мы не спрашиваем, каким путем он попал из Восточной Словакии вначале в Деблин, или как там называют это место в Восточной Польше, а потом сюда. Он невысокого роста, скорее приземистый, круглое лицо с маленькими усиками, над высоким лбом вьются черные пышные волосы. Скорее я могу представить его на коне где-нибудь на словацко-венгерской границе, чем в синагоге с талесом на плечах. Уставившись в пустоту поверх жестяной миски, он судорожно пьет, он курит и, словно издали, отвечает на наши вопросы, которые мы наконец начали ему задавать.

С новичками около кухни всегда повторяется одна и та же сцена, почти без движений, без жестов. Почему я так пристально рассматриваю каждого новенького? Чего я жду? Что он вдруг взвояет, сожмет кулаки, побежит, нападёт на них с отчаянным криком... Нет, он этого не делает. Я жду – и хочу, чтобы он этого не сделал. И чувствую облегчение, когда вижу, что он ничего не предпринимает. Значит, он такое же дерьмо, как я, как все здесь... Ну что ж, добро пожаловать в нашу компанию. Если мы все такие, то, может быть, мы все – не дерьмо. Я вспоминаю, как кто-то протянул мне еще одну кружку и какое у него было лицо – словно он был мне рад. Сейчас к новичку оборачивается долговязый Ганс Фройнд и говорит, словно признавая в нем одного из нас, а может быть, и с облегчением:

– Да, здесь тебя вначале выпотрошат, а уж потом забьют, как скотину.

Целомир Блох, Цело – сейчас на нем еще его собственное зимнее пальто, застегнутое, длинное, достающее до грубых сапог. Уже завтра на нем будут «куртка» – короткое польское пальто, и элегантные галифе, и сапоги из блестящей кожи. Конечно, если он выдержит до завтрашнего дня.

Проходят несколько дней. Однажды вечером, когда нас загнали на ночь в барак, мы не сразу ложимся на песчаный пол. Мы садимся в кружок. Только теперь, в беспокойном свете свечи, видно, что у Цело карие глаза, широкий подбородок с ямочкой и какой-то не очень подходящий нежный рот. Рядом с Цело сидит Руди Масарек. Тонкое лицо, светлая кожа, коротко стриженные белокурые волосы, светло-голубые глаза, грудь и плечи, сформированные фехтованием. Там, на плацу, где все раздевались, он так выделялся, что они не могли не отобрать его. Наверно, человека с такой арийской внешностью они раньше видели только на открытках. Руди – полукровка. Вроде бы его мать – не еврейка. Желтую звезду он впервые прикрепил на своей свадьбе и пообещал жене, что снимет ее только тогда, когда она, чистокровная еврейка, сможет снять свою. Они вместе приехали в Треблинку. Она была беременна. Здесь его обещание потеряло смысл.

Ганс Фройнд возвышается над нами даже сидя. Двигается он всегда не спеша и говорит так же. В каждом его слове слышен истинный пражанин. Он употребляет много выражений, принятых у деловых людей, у торговцев готовой одежды. В «раздевалке» Ганса не могли не заметить из-за его размеров. Его жена и маленький сынишка отправились в «трубу».

А Роберта Альтшуля из нашего эшелона заметили совсем по другой причине. Почти все мы были одеты во что-то пригодное для трудной дороги – в сапоги или высокие ботинки на шнуровке, спортивные брюки, куртки, кепки. На Роберте были шляпа с широкими полями, городской костюм, пальто и туфли. Свой зонтик он не привязал к чемодану, а держал в руке. Если бы Роберт был стариком, ничто бы в нем не привлекало внимания. Старые люди в эшелоне были одеты так же. Но Роберт производил впечатление юноши и старика одновременно. Так и стоял он на плацу, где все раздевались, может быть, рядом с Карлом Унгером, чье закаленное тело имело коричневый оттенок, потому что раньше он работал на кирпичном заводе в Оломоуце. Медленно и аккуратно Роберт отложил свой зонтик в сторону, снял с головы со слишком рано пордевшими волосами шляпу и от холода начал тереть бледную кожу. Еврейский интел-

лигент, проведший всю свою жизнь в Праге между медицинским факультетом, кафе, немецким и чешским театрами и своей холостяцкой квартирой. Сейчас он и сам не может толком вспомнить, как все произошло. То ли они вначале обратили внимание на то, как аккуратно и безо всякого подозрения он раздевался перед «мытьем», вывели его и только потом спросили, кто он по профессии. То ли вначале спросили, кто разбирается в медицине и медикаментах; а когда он сказал, что он «медик», отвели его в сторону. Такого специалиста у них еще не было. Его определили заниматься сортировкой медикаментов, в больших количествах поступающих с «богатыми» эшелонами.

Выпускной экзамен, который Роберт еще не успел сдать, чтобы получить диплом по окончании своей учебы, ему уже не нужен. Его случай показывает, что людей отбирают по совпадению случайных обстоятельств.

Потому так и вышло, что могильщики в Треблинке – пестрая смесь: силачи, портные, набожные талмудисты, мошенники варшавского дна, рабочие, бизнесмены и финансисты.

Эти так называемые «золотые евреи» собирают золото и украшения, сортируют и подсчитывают банкноты самого разного происхождения и, таким образом, продолжают здесь профессиональную деятельность, которой они занимались на воле.

Карл Унгер и я – самые молодые в группе. Если мы продержимся еще несколько недель, то отметим здесь свое 22-летие. Остальным четверым за тридцать. Самый старший среди нас, кажется, Ганс Фройнд.

И вот мы сидим на земле и пользуемся минутами, оставшимися до приказа тушить свечи. Не заметно, чтобы Цело руководил. Что-то говорит один, что-то – другой, но все мы поворачиваемся при этом к Цело. Мы должны что-то сделать, чтобы выбраться отсюда. Мы оказались в совершенно незнакомой стране, в другом мире. У тех, кто прибыл из Варшавы или откуда-то еще из Польши, есть хоть небольшой шанс. Для нас выход один – продержаться и выиграть время. Это значит, мы должны чертовски хорошо держаться, мы должны познакомиться с эсэсовцами и охранниками и теми среди заключенных, к чьему мнению прислушиваются. Кроме того, надо хорошо ориентироваться в лагере и тайком собирать деньги и ценные вещи.

– Через две-три недели посмотрим, что можно сделать, – говорят Цело и Роберт.

С того вечера проходит неделя или немного больше. Мы строимся на вечернюю переключку. Черные сапоги из тонкой кожи, начищенные до невыносимого блеска, галифе, короткие куртки повязаны поясами, на шее – шелковые шейные платки, фуражки немного набекрень. Так нас вырядили специалист по готовому платью Ганс Фройнд и модельер Руди Масарек. Молодцеватые ребята в царстве тлена и смерти.

Все в лагере уже знают чешскую группу. Не только нашу шестерку, но и других из тех двадцати, прибывших с эшелонам из Терезина, которых оставили в живых. Только мы сами не знаем, наша ли заслуга, что мы продержались уже почти три недели. Происходят странные изменения: нас расстреливают, меняют местами и заменяют на новеньких не так часто, как раньше.

Нас перевели из барака наверху, на плацу для раздевания, в нижнюю часть лагеря, в огромное сооружение в форме буквы «U», где разместились наши новые спальни и мастерские. Так здесь возникло еще одно «гетто», куда нас вечерами запирают и откуда по утрам выпускают. Три помещения, отделенные друг от друга стенами, два справа от входа в тупик, а одно на противоположной стороне, – считаются отдельными жилыми бараками. Между двумя жилыми помещениями предусмотрено даже небольшое пространство для умывания. Колодец находится за пределами «гетто», перед воротами. Когда нас загоняют в «гетто», то вокруг колодца всегда толкотня, даже драки. Вода для мытья достается в первую очередь успешным драчунам, бойким лгунам и тем, кого мы называем «чистой публикой».

Мы больше не спим на голой земле. По всей ширине барака тянутся сплошные нары, в некоторых местах в два, а кое-где и в три этажа. Мы шестеро спим рядом на верхней полке, там,

где двухэтажные нары примыкают к дощатой стене, за которой находится умывальня. Правда, это места для более «чистой публики», но Цело все устроил. Постепенно Цело становится в лагере «кем-то», причем все принимают это как само собой разумеющееся.

Сигнал к подъему – свисток – в шесть утра. Недавно мы с Карлом гадали, откуда у старосты нашего барака свисток с таким резким звуком. Он не похож ни на детскую игрушку, ни на настоящий судейский свисток. И вот уже гремят жестяные кружки. По утрам дают только черное пойло из эрзац-кофе, без хлеба, без всего. Без четверти семь – на площадку для переключек, апель-плац, тянущийся вдоль нашего барака.

Какой суп будет на обед, зависит от того, что привез последний эшелон. После вечерней переключки мы получаем у раздаточного окошка кухни снова эрзац-кофе и порцию хлеба. В маленьких мешочках для хлеба, которые нам разрешено иметь, мы приносим еду получше. Эти сумки, которые мы носим через плечо, скрывают не только еду, но и мыло, бритвенные принадлежности, крем для обуви и всякие повседневные мелочи. Никто толком не знает, кто придумал эти сумки.

Нам разрешили взять из сортировки одеяла. В течение дня они должны лежать в изголовье нар, безупречно сложенные, и все должно быть чисто выметено. В одеяло можно спрятать что-либо полезное для «домашнего хозяйства».

Вечер на нарах после переключки. Роберт только что разложил свой складной стул. Этот стульчик, каким пользуются рыбаки, с сиденьем из брезента, он отважился тайком притащить сюда с сортировки, после того как гауптшарфюрер Кюттнер перевел его на работу в только что построенную «амбулаторию». Там, в маленьком отделении жилого барака, где есть примерно 16 мест на нарах, ему теперь надлежит в более спокойной обстановке сортировать медикаменты.

– Эта амбулатория лучше всего показывает, что они планируют делать, с нами и вообще, – говорит Роберт. – Каждому настоящему производству нужны рабочие со специализацией. Поэтому они нас сейчас холят и лелеют. А вывод из этого такой: нужно ожидать еще больше эшелонов.

Нашего Руди недавно перевели вниз в швейную мастерскую. Щеголю-садисту обершарфюреру Курту Францу бросилась в глаза арийская внешность и спортивная фигура Руди. Одновременно он открыл в Руди отличного мужского портного «из Златой Праги» – для себя и для других эсэсовцев в Треблинке.

В девять часов свечи должны быть потушены и все должны лежать на своих местах. Я разворачиваю одеяло, обувь и одежду складываю в изголовье, чтобы было удобно достать. На мне шелковая пижама. Завтра я ее выкину. За три дня, вернее, за три ночи она покрывается пятнами крови: здесь несметное количество блох. Может быть, завтра я смогу принести сверху новую пижаму. Правда, это запрещено, но в последнее время на такие вещи смотрят сквозь пальцы. Только нельзя попасться в руки к самым гнусным – Францу, Кюттнеру, Мите. Может быть, моя следующая пижама еще не при была в Треблинку, может, она еще в пути. А может, завтра мне уже не понадобится пижама. Впрочем, если я буду делать все правильно и ловко, то мне не надо бояться, как в первые дни, что какой-нибудь эсэсовец просто съест меня с кашей.

Становится ясным, что система стабилизации и специализации себя оправдывает. Сегодня «обработали» примерно 15000. Правда, никто не заметил, что в этой эффективной организации рабского труда появилась первая искра, которая разожжет пожар.

### **«ИЛИ, ИЛИ – В ОГОНЬ И ПЛАМЯ ГОНЯТ ОНИ НАС...»**

Однажды пасмурным ноябрьским вечером из-за песчаного вала вырывается пламя, оно поднимается к небу и моментально распространяется вширь. Мы замечаем огромную огненную картину, когда маршируем вниз на переключку. Мы шатаемся с мисками в руках вокруг

кухни, освещенные темно-красным заревом с той стороны вала и прожекторами на бараках у нас над головой.

– Они начинают сжигать мертвых... Не хватает места для захоронений... Они хотят заметить следы.

Слухи распространяются в лагере со скоростью ветра, раньше, чем мы доходим до жилых бараков. Последним на нары залезает Роберт.

– Не так-то просто сжечь такое количество людей, к тому же на открытом огне. – Немного погодя: – Дело в том, что человек не очень хорошо горит, скорее, даже плохо. Нужно класть между трупами что-нибудь, что хорошо горит, да еще чем-нибудь полить. Им надо было вначале провести испытания.

Наплечные сумки сброшены на нары, никто их не открывает. Взгляды все время обращаются к окнам, их мало, и они зарешечены. За ними разливается зарево, оно окрашивает ночное небо в темно-красный цвет, наверху переходит в желто-красный и растворяется в бледно-желтом. Там, где противоположные нары упираются во внешнюю стену, появляется Сальве. Выпрямившись, спиной к маленькому окну, смотрит он в глубину барака. У него чистое и светлое лицо, без единой морщинки, кожа вокруг прямого носа и вокруг рта такая тонкая, дрожащая. Он только-только начал карьеру оперного тенора, когда его отправили в Варшавское гетто. А оттуда в эшелоне – в Трешлинку. Кто-то, кто его знал, указал на него эсэсовцам, вот почему они его отобрали, для себя и для нас. Небольшой, но удивительно красивый человек.

На 14-летнего Эдека никому не пришлось указывать. Он вместе со своей гармонью, которая почти целиком закрывала его тело, воспринимался – о чем он и не подозревал – почти как часть лагерного инвентаря. Его родителей, братьев и сестер сразу по прибытии отправили в «трубу». Они не умели играть на музыкальных инструментах. Сейчас он стоит рядом с Сальве, снизу видны только ноги, сверху над гармонью – удлиненное лицо с печальными глазами; в нем нет ничего детского.

– Или, Или... они гонят нас на костер, мучают нас огнем. Но от Твоего Писания не отказался никто.

Сальве жалуется и оплакивает. Мелодия и слова из далекого прошлого, огонь сегодняшнего дня, врывающийся снаружи, – они разрывают сердце. Они разрывают сердце нам, слушающим эту песню впервые, точно так же, как тем, кто слушал ее раньше в часы ужаса: во время погромов и охоты на ведьм.

– Спаси нас, о спаси нас – Ты один можешь нас спасти. – В конце аккорды обрываются, а голос уносится куда-то высоко, выше огня. – Шма, Израэль... Адонай эхад!

Ганс хватается за голову:

– Йезус Мария, они и к этому готовы, у них даже для этого случая есть песня!

Этой песне, наверное, четыре с половиной века. Говорят, она возникла во времена Изабеллы Кастильской, на кострах испанского инквизитора Торквемады, когда евреев и других неверных сжигали под знаком обычного креста, еще не свастики. Верующие евреи не произносят имени Бога. Они называют Его «Всемогущим», «Единственным»: «Или, Или, лама савахфани».

Я не знаю иврита. Но я много читал Библию, и Ветхий, и Новый Завет. Тогда, одинокими вечерами, когда я давал корм скоту. Трех месяцев не прошло. Теперь я слушаю, широко раскрыв глаза, и передо мной встает сцена, когда человек на кресте около девятого часа возопил громким голосом:

– Или, Или! лама савахфани? – то есть: Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?

Да, это могло быть так: «завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись...» – там, за спиной Сальве, за решеткой на окне.

Юрек, капо «красных», высовывается с бутылкой водки и кричит:

– Сальве, спевай «Идише мама»! Давай!

Это я уже знаю. В первый раз я слышал, как Сальве пел эту песню под аккомпанемент Эдека, недавно, вечером в швейной мастерской: «Идише мама – лучше не знает свет. Идише мама, ой вей, как плохо, когда ее нет».

Сальве живет в бараке напротив, потому что он из «придворных евреев». К нам сюда его привело сегодня, вероятно, разверзшееся кровавое небо. Только когда он спускается с нар и собирается уходить, в бараке начинаются разговоры.

– У нас не было настоящей причины и настроения для таких песен. Для этого мы слишком хорошо жили, – говорит Роберт.

Через несколько дней после того, как в лагере появился Цело, была создана «сортировочная бригада барака А». Здесь сортируется и перерабатывается только хорошая одежда. Это тот же самый барак, куда меня, а потом и Карла привели после прибытия к спрессованным кучам одежды, от которых поднимался парок. Но сегодня внутри барака все выглядит совсем по-другому. Решетки из грубых досок разделяют помещение на несколько отделов, которые называются «боксами». Над каждым боксом висит табличка с указанием, что именно там сортируется и хранится. Мы с Карлом работаем в отделе готовой одежды, в боксе «Мужские пальто, I сорт».

Каждый рабочий «барака А» носит желтую нарукавную повязку с буквой «А». Цело здесь бригадир. Эсэсовцы заметили, как остальные собираются вокруг него. Он бросался в глаза, но держался при этом скромно.

Вдоль «барака А» в направлении сортировочного плаца пристроили «барак предварительной сортировки». Мы получаем оттуда материал для переработки, точно так же, как и расположенный рядом «барак Б», где сортируют обувь, кожаные и галантерейные изделия, кепки, шляпы и туалетные принадлежности. Со стороны железнодорожной платформы, от которой нас отделяет только тонкая дощатая стена, раздается резкий свисток. Маленький Авраам из соседнего бокса съезжает с кучи узлов, откуда он может через щель в досках подсматривать, что происходит снаружи:

– Не теплушки, это – пассажирские вагоны, значит, с Запада – богатый эшелон.

Едва Авраам успел снова занять свое рабочее место, как появляется наш теперешний «шеф», унтершарфюрер Бредо, а с ним и другие эсэсовцы:

– Все на выход, на перрон!

Это дополнительная работа, которую выполняем мы, люди из «барака А». Когда приходит большой эшелон и бригада «синих» не может достаточно быстро освободить платформу (называемую также перроном или вокзалом) от людей и их багажа, нас бросают туда как резерв на подмогу.

Синие и желтые нарукавные повязки действуют на выходящих из поезда людей успокоительно, вызывают доверие. Они свидетельствуют о хорошей организации и порядке в месте прибытия.

Бывало, кто-нибудь из эшелона спрашивал:

– Где мы? Что с нами будет?

А кто-нибудь из нас шептал в ответ:

– Вы идете навстречу смерти... Берегитесь!

Тогда они смотрели на него с недоверием и отчуждением, как на сумасшедшего, если они вообще были в состоянии смотреть, в этой толчее, в заботе о детях, женах, матерях, чемоданах и рюкзаках.

Придя на «перрон», я по пассажирским вагонам и обрывкам чешской речи понимаю, что это – эшелон из гетто Терезин. Посреди множества вещей, заполонивших платформу, покачиваясь, бродят несколько отставших стариков.

– Эй, ты, отведи вон ту старуху в лазарет! – Эсэсовец делает мне знак плеткой.

Я беру женщину под руку. Платок сбился у нее с головы, обнажив узел седых волос. Наверное, ей за семьдесят, она не маленькая, но и не крупная.

– Прошу вас, куда вы меня ведете? – В голосе чувствуется беспомощный страх.

– В лазарет... – Ни ей, ни мне не кажется странным, что она спрашивает по-чешски, а я по-чешски отвечаю. Для нее Треблинка – продолжение Терезина.

– А почему, собственно, в лазарет?

– Для обследования. Всех старых людей отправляют туда. А откуда вы?

– Из Бенешова... Пожалуйста, дайте мне немного попить. Я очень хочу пить.

– Потерпите чуть-чуть, пожалуйста, не останавливайтесь.

Позади нас двигается такая же пара, за ней – эсэсовец, следом еще несколько. Ну, вот, пришел и мой черед участвовать в этом. Я должен довести ее туда, там она поймет, посмотрит на меня. Над ямой мне придется сорвать с нее одежду, может быть, поддерживать ее за руку.

Сейчас, думаю я, все решится. Это выпало на твою долю, и тебе остается только сделать то, что ты так часто себе представлял. Не смотри на старуху. Проведи ее как можно ближе к эсэсовцу, дай ему как следует промеж ног, выхвати у него из кобуры пистолет, не бери автомат, из которого он так чисто и беззвучно стреляет. Правда, он слишком внимательно следит за дистанцией. Так близко тебе к нему не подойти, да и постовой наверху, на валу быстрее нажмет на спуск.

Мы приближаемся к зеленой стене «лазарета». Я отпускаю ее руку, хочу освободиться от нее. Но она крепко уцепилась за меня, опирается на мою руку, прижимается к бархату синей артистической блузы, которую я нашел сегодня Утром и сразу же надел.

– Что это было? Там кто-то стрелял? – Она спрашивает это без страха, только голос немного взволнован.

– Нет-нет, это наши парни грузят багаж.

Прежде чем мы оказываемся в маленьком проходе, ведущем к «лазарету», я оглядываюсь. Расстояние между парой позади нас и эсэсовцем увеличилось. Для двух людей, идущих рядом, дорога узковата. На втором повороте я делаю ей знак, чтобы она прошла вперед, а сам разворачиваюсь и, словно влекомый посторонней силой, со всех ног несусь назад. В это время внутри раздается очередной выстрел. На входе я протискиваюсь мимо следующей пары. Эсэсовец пропускает меня.

Я бегу в барак, но меня сразу же выгоняют обратно на перрон, чтобы унести оставшийся там багаж. В глазах рябит от надписей на чемоданах с эшелонов, прибывших из Терезина. Горы пожитков, обуви, одежды, консервов все еще растут.

Ты струсил, ты сбежал – от старухи и от того, что ты, собственно, собирался сделать. Тогда наслаждайся и впредь Треблинкой: баландой, плетками, «лазаретом»... Что ты ей сказал, когда она просила пить? «Потерпите чуть-чуть, сейчас вас...» Нет, этого я ей не сказал. Но ты это подумал. Признайся, тебе пришлось в голову: через минуту вам уже ничего не понадобится. Ты – скотина, а что бы ты делал, если бы тебе пришлось вести свою собственную бабушку? Может быть, и она здесь, только что прошла, уже там, и как раз сейчас...

В барак я возвращаюсь одним из последних. Лиц о маленького курчавого Авраама все обсыпано какао из разорвавшегося пакета. Он отряхивается и стирает коричневый порошок, время от времени засовывая немного какао себе в рот. При этом он причитает, печально и мечтательно одновременно:

– Ой вей, какой большой и богатый эшелон... ой вей, что за эшелон!

## ТАИНСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ СМЕРТИ

Первый ряд носками ботинок касается белой линии, которая тянется по посыпанному черным шлаком плацу. Мы выстроились вдоль этой линии, без права на жизнь, с наголо обритыми головами и кепками в руках. Перед нами стоят те, кто получают от жизни тем больше, чем больше жизней они уничтожат.

– Не расходиться! Смирно! – ревет «легавый» и делает шаг вперед. Гауптшарфюрер СС Фритц Кюттнер, которого мы называем «легавым», – начальник производства в Треблинке.

Не начальник, а изверг, он появляется почти одновременно в самых разных местах и умудряется сохранять во всем лагере бешеный, лихорадочный темп.

Высокая фуражка так глубоко надвинута, что закрывает весь лоб. Глаза буравят, словно сквозь прицел, ряды построившихся на плацу.

– Старосты, капо – вперед, за мной!

Часть эсэсовцев двигается в том же направлении. «Легавый» оставляет без внимания маленькую группу женщин, стоящую с краю, и медленно идет вдоль рядов.

– Ты, выходи – нет, ты – да, ты, выходи, ты тоже. – Щелкает плетка. Тревога внутри меня немного утихает, потому что теперь я знаю, о чем идет речь. Но я сразу же настраиваюсь на то, что должно произойти. Они отбирают людей для лагеря смерти. Им снова надо пополнить команду тех, кто работает непосредственно в мастерской смерти. Насколько я знаю, они никогда не выбирают людей для лагеря смерти прямо из эшелонов. Вероятно, они поняли, что первая часть лагеря является необходимой подготовительной ступенью для работы рядом с совершенно обнаженной смертью, что для нее не очень-то годятся те, кого только что вырвали из жизни.

– Ну, капо, кто тут у тебя самые ленивые? Выводи их! – «Легавый» делает вид, что выбор зависит от капо и бригадиров. Они молча подыгрывают ему. Вот капо едва приметно замедлил шаг около одного, вот чуть дольше поглядел на другого, и «легаш» выгоняет обоих плеткой из ряда. Это – ненадежные люди. Разумеется, «легаш» этого не знает. Но зато капо и бригадиры знают это слишком хорошо. Так в этой части Треблинки рабы молча вершат свое строгое правосудие. Это происходит не только при отборе в лагерь смерти. Иногда во время работы на сортировке нужна помощь, но она не поспевает вовремя. И никто не знает, насколько тот или иной «несчастный случай на производстве» был действительно случайностью, или чьей-то личной мстью, или за ним стояло коллективное решение. Тем временем «легавый» уже разогрел себя до своего обычного бешеного состояния, обогнал всех и далеко впереди отбирает людей по собственному усмотрению. Остальные эсэсовцы ударами сгоняют их в угол барака – 12, 13, 14... Сейчас, сейчас он подойдет, вот уже он осматривает человека рядом со мной. Я высоко держу голову, для этого я устался на черную крышу барака. Он прошел мимо: я проскочил, на этот раз. Меня не выбрали, я опять буду сортировать пальто, рубашки, ботинки, буду рыться в кучах продуктов, тайком набивать рот едой, тайком надевать чистое белье...

Те, кого сейчас уводят за вал, спускаются совсем глубоко в царство смерти. Они больше не соприкоснутся ни с чем, только с ней, только ее они будут держать в руках, только ее одну, но в виде тысяч фигур обнаженной плоти. Со всех сторон тысячами и тысячами разверстых глаз и ртов на них будет смотреть смерть. Она будет размахивать вокруг них тысячами рук и ног. Она пропитает их своим удушливо-сладковатым запахом. С голых тел ничего не принесешь с собой вечером в барак. Они будут ложиться спать в той одежде, в какой их увели отсюда. А есть только то, что выдают на кухне в жестяных мисках. Сигарета там будет цениться дороже, чем у нас доллары и бриллианты.

Мастерские с инструментами и рабочими столами, платформа, плац-раздевалка, еще хранящий запахи раздетых тел, – это всё места подготовительной работы. В конце, там, внизу, – «второй лагерь» со строго охраняемой тайной. Уже само название «лагерь смерти» – есть заклинание, произносить которое опасно. Даже в своем кругу мы говорим «второй лагерь» или «там, на той стороне». И все-таки мало-помалу, как вода крошечными каплями просачивается через сколь угодно прочную плотину, к нам в первый лагерь проникали отдельные сведения, и со временем я узнавал все больше.

Газовые камеры были единственными каменными строениями во всем лагере. Собственно, это были два объекта. Вначале они построили – на большом расстоянии от входа –

небольшое здание с тремя газовыми камерами, каждая величиной примерно 5 на 5 метров. Потом осенью 1942 года было сооружено здание побольше с 10 газовыми камерами. Его разместили совсем рядом с «трубой», там, где она переходит из первой части лагеря во вторую. Через все новое здание посередине тянется проход. Оттуда входят в газовые камеры, их с каждой стороны по пять. Размер каждой из этих камер примерно 7 на 7 метров. К задней стене, там, где заканчивается проход, примыкает моторное отделение. Из него по системе труб через отверстия в потолке в газовые камеры нагнетают выхлопные газы. Эти трубы замаскированы под душ. Пол, выложенный грубыми плитками, имеет наклон к внешним стенам. В стены встроены герметичные, поднимающиеся вверх двери. После «процесса газификации» их открывают и вытаскивают трупы на узкую платформу. В первое время трупы укладывали на грубо сколоченные носилки и относили к месту захоронения. Теперь их складывают штабелями на большой решетке для сжигания, изготовленной из рельсов.

В начале октября, когда наш эшелон прибыл в Треблинку, они, кажется, уже запустили новые газовые камеры. Если наполнить все эти камеры, то можно одновременно убить почти две тысячи человек. Само отравление газом продолжается примерно 20 минут. Много зависит от быстрого заполнения и освобождения газовых камер, а также от того, насколько бесперебойно работают моторы. При задержках «пробка» возникает вне Треблинки, на подъездных путях и коммуникациях.

Если в первой части лагеря готовится следующая партия, то освободить камеры приходится в самом быстром темпе. Что происходит со всеми ремнями и поясами, которые мы должны собирать и складывать у ворот второго лагеря? Каждый на той стороне имеет такой набор ремней. Один конец ремня он обвязывает вокруг ног или рук трупа и – «Давай, давай, тащи, тащи!». Иначе они вообще не смогли бы с этим справиться, если их всего триста человек.

– Так, марш! – «Легавый» уже на другом конце апель-плаца. Группа отобранных для второго лагеря скрывается за углом барака, а мы маршируем в другом направлении, на работу.

– Запевай! – Приказ запевать охранники в черном переняли у зелено-черных и серозеленых эсэсовцев и орут, растягивая слова: – Пой, да-авай, мать твою, давай, спевай, курва, пой, сукин сын! – Рев переходит с польского на украинский.

Капо и бригадиры кричат и бегают взад и вперед вдоль колонн.

– Давай-давай, маршировать, раз-два, раз-два, ты что, не умеешь, не понимаешь?

Никто бы не поверил, что этот металлический раскатистый голос принадлежит такому маленькому человечку, что на этом берлинском диалекте говорит не эсэсовец, а один из трех наших, которых эсэсовцы считают немецкими евреями, а мы – еврейскими немцами. Это капо Маннес, с резкими четкими движениями и чистым загоревшим лицом. В последнем ряду его колонны идет, спотыкаясь, мужчина без имени, без возраста откуда-то из еврейского части деревни под Варшавой. Капо Маннес не хочет, чтобы его людей били плетками. Маленький, старающийся изо всех сил капо Маннес с громким голосом хочет, чтобы его колонна маршировала безупречно, чтобы все было в порядке. Капо Маннес подбадривает несчастного, предостерегает, что опасность приближается, повышает свой голос почти до воя, опускает его до угрожающего шепота. И хотя капо Маннес не грозит плеткой, бедняга каждый раз со страхом поднимает руку, уклоняется всем телом и отвечает на все жалобными вопросами:

– Ой, капо Маннес, фор вус (для чего) я должен так маршировать в Треблинке? Фор вус я должен так петь?

Давно уже не такой пугливый, Адриан из польского местечка считает, что маршировать в ногу не годится, это не кошерно.

– Ой, капо Маннес, разве ты аид? Что ты за еврей? Немецкий еврей? Еврейский немец? Ряженный шут – вот ты кто.

## ДЕСЯТЬ ЗА ОДНОГО

В этот раз звук въезжающих вагонов был каким-то необычным. Когда смолк визг тормозов и лязг буферов, раздались свистки. Нас выгоняют из барачков, где мы сортируем вещи. Вдоль всей платформы стоят товарные вагоны. «Синие» и мы открываем их. Никакого давления изнутри, двери открываются легко. Вагоны пусты.

Штабшарфюрер Штади стоит недалеко от ворот с каким-то оружием через плечо. На перрон пригоняют еще людей с сортировки. Некоторых эсэсовцы бьют плетками и ногами, пока те не упадут на землю. Охранники, как прилежные ученики, подражают им. Тут же и их начальник обервахманн Рогоза, юношески красивый, краснощекий хам.

Теперь мы понимаем, почему они так неистовствуют! Они подготавливают новую акцию, режиссируют новую сцену, которую еще не репетировали и не отточили во всех мелочах. Отовсюду слышны свист плеток и крики, пока мы не выстраиваемся в одну линию, и тогда звучит команда:

– Бегом! Нагружать вагоны!

Длиннющая цепочка людей движется от пирамид с вещами на плацу к вагонам и обратно. Еще прежде, чем я с первым тюком прибегаю на платформу, первый вагон уже полон, второй – почти, потом третий, четвертый... Большинство бригадиров размахивают плетками и сопровождают свое «дирижирование» криками.

Все вагоны нагружены. Эсэсовцы переходят от одного вагона к другому, проверяют и приказывают закрыть раздвижные двери. Поезд выезжает, а через короткое время локомотив вталкивает новые пустые вагоны.

– Итак, это – обратный эшелон, – говорит Ганс Фройнд, который возвышается надо всеми и смотрит поверх всех. – Всё, что еще осталось, – годится для фронта и для рейха. В те дни, в конце ноября – начале декабря эшелоны стали реже, но работа в лагере была по-прежнему интенсивной. Вагоны с людьми, прибывающими в Треблинку, чередовались с вагонами с вещами, которые уходили из Треблинки. За небольшими исключениями, вагоны, в которых привозили людей, для отправки отсортированных вещей не использовали. Крытые вагоны для скота с людьми приходили большей частью из Польши, пустые товарные вагоны для вещей – из Германии. Горы увязанных в тюки вещей на сортировке исчезали, и вырастали новые, как в мультфильме.

Если бы я был эсэсовцем, то знал бы, что и этот «сброд» может объединяться, если он два-три дня бежит цепью друг за другом и все время нагружает вагоны. Тут уж слишком хорошо знаешь, кто бежит перед тобой, кто – после тебя, кто забирает у тебя тюк, кто укладывает его в вагон.

Я бы заметил, что произошло недавно. В дверях вагона столкнулись не то три, не то четыре человека с тюками и упали. Два бригадира тут же кинулись на них с плетками. Староста лагеря, Галевский, тоже с криком бросился туда. Потом кто-то из бригадиров отгонял ударами людей от вагонов, а унтершарфюреру Гентцу оставалось только обернуться и смотреть, «как эти польские мерзавцы избивают друг друга». А тем временем двое уже были спрятаны в вагоне между тюками и прикрыты сверху вещами. Вагон готов к отправке.

– Закрывать, господин начальник?

Если бы я был эсэсовцем, я бы услышал в этом глупом вопросе больше. Полностью нагруженный состав выезжает, а с ним еще двое, которые «должны сообщить миру».

Все это сопровождалось прекрасно организованной суматохой. А главными актерами – кроме двух беглецов – бы ли те, что толпились перед кухонной раздачей и норовили стянуть что-нибудь прямо у тебя под носом.

Если бы я был здесь эсэсовцем... Меня все время преследуют эти слова и мысли.

Вскоре после этого происходят два события, которые заглушают чувство удовлетворения и могут сломить волю к побегу из Треблинки. Вьедливый обершарфюрер Бёлитц, он всегда строже и основательнее остальных, обнаружил незадолго до отправки нагруженных вагонов двух человек с сортировки, спрятавшихся под вагоном. Сразу же появляется «Лялька», потому что это – его забота. Он не идет, он вышагивает. Он знает (и это знание чувствуется в каждом его шаге), что все в нем безупречно, отглажено, начищено: черные сапоги, серые галифе с нашитыми желтыми кусками кожи, зеленый китель, серые перчатки из оленьей кожи, сдвинутая набок фуражка с «мертвой головой». Обершарфюрер СС Курт Франц совершенно уверен, что из всех здесь он – самый высокий и самый красивый парень. Чего он не знает, так это того, что за свою фигуру, красные щеки и сияющие карие глаза он получил от узников Треблинки польское прозвище «Лялька» – «кукла».

Остальные эсэсовцы стоят вокруг, словно в ожидании представления, представления с людьми, похожими на голые пугала. Тем двоим приказывают раздеться уже на перроне. Сбегаются охранники, по приказу и в ожидании нового «развлечения». За веревку, накинутую на шею, их, голых, волокут к кухне, избивая плетками. Там их вешают за ноги, головами вниз, на балке, укрепленной между двумя соснами.

– Как следует посмотрите на этих двоих! – Рука в серой перчатке из оленьей кожи показывает за угол барака в направлении кухни. – И сделайте из этого выводы на случай, если кому-то придет в голову что-нибудь подобное. Размечтались, скоты! Разойдитесь!

Толпа около кухни растёт – ведь в последнее время эшелоны приходят реже, и горы еды исчезли. Через пар, поднимающийся на пронизывающем холоде от мисок, сквозь слабый запах из кухни навязчиво лезет в глаза картина, как будто перевернутая с ног на голову кривым зеркалом. Синеватые тела, закинутые назад головы, выступающие кадыки, глаза, словно вылезшие на лоб, широкая полоса крови между носом и ртом, тонкая – от уголков рта к вискам.

– Шма, Израэль – слушай, Израиль. – Вначале слышен хрип, затем возникают слова молитвы и одновременно призыв к борьбе. Потом по телу проходит судорога, как будто он хочет опереться на связанные за спиной руки, и кровоточащий рот выталкивает слова: – Чего вы еще ждете? Отбросьте жратву и подумайте о мести!

Та же сцена повторяется, когда из загруженного вагона выволакивают еще двоих. Не совсем ясно, то ли они собирались спрятаться, то ли просто запутались в тюках, когда укладывали их в вагон в штабель. На этот раз они позвали плотников, и вскоре из земли на «вокзале» возвышались два столба, между ними – перекладина, а на ней висели беглецы, нам в предостережение. Когда мы после обеда маршируем мимо, они уже не издают ни звука, а мне в голову приходит только одна совершенно идиотская мысль: «Значит, вот как выглядит голый человек, поставленный на голову».

Через некоторое время они их срезают – в «лазарет», а виселицу приказывают разобрать.

Несколькими днями позднее Цело ведет наше вечернее заседание на нарах тише, чем обычно, но тем настойчивее звучат его слова:

– Итак, пора что-то предпринять. Скоро наступит зима, холода, снег, и тогда...

– Ну да, тогда у нас отмерзнут ноги, если они повесят нас голыми, – роняет Ганс Фройнд.

– Я разговаривал сегодня с одним, его зовут Коленбреннер. Он говорит, у него есть план, как нам шестерым вместе с ним выбраться отсюда. Ночью, это не так опасно. Барак не запирают. Я, как бригадир, могу подозвать украинца, который будет дежурить, к двери. Можно договориться с ним о сделке. Если мы условимся с тем, кто будет дежурить вечером, что ночью положим у двери кошелек с деньгами, а он принесет бутылку водки... это ведь уже практикуется некоторое время. Вы будете стоять за дверью, и, когда он подойдет поближе, мы с ним управимся совсем бесшумно. Один из нас наденет его форму, возьмет его карабин и подзовет к воротам гетто дежурного эсэсовца. Его нам тоже придется убить, а форма, фуражка и автомат помогут пройти через пост у ворот и выбраться к железнодорожным путям. Это – кратчайший

путь. Если мы сбежим вместе с этим парнем, Коленбреннером, он обещает за это провести нас в Варшаву и достать для всех фальшивые документы.

– Это значит, что мы должны взять с собой увесистый пакет с деньгами и золотом, – добавляет Роберт.

– А почему этот парень выбрал именно нас? – снова вмешивается Ганс. – У него ведь есть здесь другие знакомые, нас он знает слишком мало.

– А мы – его, – присоединяется Роберт. – Только, вероятно, для нас это единственная возможность.

– Он не хочет пробовать ни с кем из тех, кого знает, потому что знает слишком многих, – объясняет Цело.

– И потому что знает их слишком хорошо, – добавляет Ганс.

– С фальшивыми документами мы могли бы присоединиться к подполью в Польше, к партизанам, или добровольно записаться на работу в Германию.

– И почему же он оказался в Треблинке, если давно уже мог достать все это себе в Варшаве?

– Потому что он тоже этому не верил. Что-то такое ему доводилось слышать, но был не в состоянии поверить. Нам он доверяет.

– Доверяет... Доверяет, потому что арийские физиономии нашего Руди и Карла облегчат ему побег. – Ганс помазком показывает перед собой. – Еще он рассчитывает, что в случае чего мы окажемся находчивее и не наложим сразу в штаны, как его вшивые дружки. Руди был в армии лейтенантом, Цело тоже, а он, дерьмовый умник из Варшавы, будет давать нам советы и пользоваться нами как личной охраной.

– Но, человеку, на Треблинку то не е така зла понука – для Треблинки, приятель, это не такое уж плохое предложение. – Цело путает словацкие, чешские и польские слова.

– А что ему помешает бросить нас где-нибудь одних, когда мы выберемся из лагеря? Где-нибудь в Польше? – продолжает сомневаться Ганс.

– Хоть бы меня кто-нибудь бросил где-нибудь в Польше, – мечтательно произносит Карл. Все начинают говорить одновременно:

– Если нас поймают уже здесь, то дальше – голышом вверх ногами, это длится не очень долго, может быть, двадцать минут, потом теряешь сознание.

– Двадцать минут для тебя не долго?

– Этого мы вообще не должны допустить, мы должны сразу же броситься на них и убить.

– А если снаружи нас поймает немецкая полевая жандармерия, или как там она называется? Ты слышал, что они делают здесь в Польше, если у человека нет документов? Они раздевают тебя, и вот тебе паспорт: обрезанная крайняя плоть. Они еще поиграются с тобой немного, пока ты не окоченеешь.

– Для эсэсовской формы у Руди самая подходящая фигура, но снаружи будет лучше сразу снять мундир.

– Самое позднее через неделю мы должны попытаться, – Цело снова говорит спокойно. – Руди и я еще попробуем выяснить, бывает ли вообще смена у ночного караула и как это происходит. Вы завтра же пронесете сюда из бокса все собранные деньги. У каждого в кармане должны быть какие-нибудь консервы, нож, веревка или ремень.

Прошло два дня. В эту ночь охране не пришлось будить нас утром. Задолго до свистка все на ногах. В бараке слышны взволнованные, приглушенные голоса. Семеро из бригады «синих» попробовали сбежать, примерно так же, как планировали и мы. Но охранник у ворот гетто оказался быстрее, он успел вызвать дежурного эсэсовца, а с ним и подкрепление. Номера семерых записали, потом их загнали обратно в барак, а у барака поставили часовых. Все это произошло в тишине между двумя и тремя часами ночи. Вот тогда в первый раз и сработали матерчатые

треугольники с номерами, которые мы получили при переселении в «гетто». Эти треугольники мы должны носить на верхней одежде на левой стороне груди, так чтобы их было хорошо видно.

– Они дали загнать себя обратно. – Роберт растягивает слова еще больше, чем всегда. – И это при том, что в «синие» берут только лихих ребят.

На переключке в этот раз присутствует необычно много эсэсовцев. Кажется, около двадцати. «Лялька» Франц выходит вперед и начинает представление:

– Сегодня в последний раз будут приняты мягкие меры. – У него пренебрежительное выражение лица. – Семеро из вас, которые хотели сбежать, будут расстреляны. – Вдруг он переходит на крик: – С сегодняшнего дня я устанавливаю новый порядок: каждый капо и каждый бригадир отвечает за своих людей собственной шкурой. За каждого, кто сбежит или попытается сбежать, будут расстреляны десять человек – десять за одного! И все капо и бригадиры теперь будут присутствовать при казни в «лазарете»! Разойтись!

Мы маршируем с апель-плаца, а наверху расходимся по рабочим баракам.

– Но их не пытали, – замечает кто-то и в тишине, наступившей после семи одиночных выстрелов, добавляет: – Десять за одного.

## ПАЛАЧИ И МОГИЛЬЩИКИ

Всех, кто передвигается в Трeблинке на двух ногах, можно назвать «господами и рабами». Но такие названия хороши только для газетных заголовков. На самом деле в Трeблинке все не так просто. Есть господа покрупнее и помельче. Полугоспода, начальники палачей, заплечных дел мастера и их помощники, более или менее живые рабы. Могильщики, рангом повыше и пониже.

Все подслушивают и подсматривают за остальными и друг за другом. Когда собирается вместе несколько человек, их поведение разительно отличается от того, как каждый ведет себя в отдельности, если его не видит никто, стоящий выше. Все мысли вертятся только вокруг «наследства», вещей и ценностей, которые останутся после сотен тысяч людей.

Мародерствуют и спекулируют все. Господа эсэсовцы и охранники нацелены в первую очередь на золото, украшения, деньги, шубы; это пригодится в любом случае, кончится ли война для них хорошо или плохо. Рабы хватают еду, а также ценности – на один-единственный случай.

Все с напряжением и любопытством ждут, что принесет следующий эшелон в Трeблинку. Даже самые последние рабы в «лагере смерти» могут оценить «качество» эшелона по количеству выломанных золотых зубов и по результатам обследования, которое там выборочно проводится, чтобы проверить, нет ли у голых мертвецов золота и украшений в других отверстиях тела, кроме ротового.

Все поют и заглушают друг друга: немцы – «Родина... твои звезды», украинцы – «Ой, при лужку, при широком поли...», евреи – «Идише мама» и «Или, Или...».

Он прогуливался и иногда останавливался наверху на песчаном валу. Это было через несколько дней после того, как начали сжигать трупы. Оттуда он осматривал свои владения. Он смотрел вниз на ту сторону, откуда поднимался дым, создававший для него величественный фон. Потом он снова смотрел на эту сторону, где внизу горы вещей и цепочки крошечных фигурок все время меняли свои формы и приобретали, как в калейдоскопе, все новые и новые очертания. У него не было тяжелого хлыста, как у всех остальных эсэсовцев, а только легкий стек для верховой езды и всегда светлые перчатки, а на голове – пилотка, пальцы правой руки заложены за борт облегающего зеленого мундира. Это – комендант лагеря, гауптштурмфюрер СС Франц Пауль Штангль. И подобно тому, как сейчас он в полном одиночестве смотрел вниз с вала, так же, сохраняя дистанцию от всех окружающих, он надзирал сверху и за всем, что происходит в лагере. Он редко приходит из барака коменданта на «предприятие»,

избегая при этом всяческих контактов с рабочими евреями, а равно и с украинскими охранниками. Если он изредка появляется на переключке, то только для того, чтобы посмотреть со стороны, стоя у угла барака. Слегка постукивая стеклом по сапогу, он уходит еще до конца переключки. Немного загнутый нос, выступающий подбородок, небрежная походка и движения, которые позволяют себе только высокие чины, – он производит впечатление сеньора, распределяющего власть между своими вассалами. Роберт говорит, что этот величественный господин знает больше остальных и что у него на совести наверняка больше, чем у всех. Он занимает положение, при котором ему самому не надо ни стрелять, ни избивать плеткой.

Почти у всех есть прозвища. Они возникают по любому поводу, потому что нам нужны слова и предупреждения, которые понимаем только мы – и никто больше. Среди них есть три особенных имени, являющиеся для нас сигналами смертельной опасности и одновременно символизирующие три основные опоры Треблинки и ее производства. Их настоящие имена мы знаем только понаслышке, мы даже не знаем, как они правильно пишутся: Франц, Кюттнер, Мите. В первый раз я увидел Франца в действии на второй или на третий день после прибытия в Треблинку. Я вышел из барака на сортировочный плац и увидел, как в нескольких метрах от меня он обстоятельно уложил одного из рабов в нужное положение, а потом начал отвешивать ему 25 ударов по заду. При каждом ударе он полностью выпрямлялся, откидывался назад и замахивался, как это делают теннисисты. Но это было лишь маленькое представление. Только когда он устраивает настоящие большие спектакли на плацу для всех и со всеми, его гладкие щеки становятся по-настоящему красными. В этом предприятии Франц-Лялька что-то вроде младшего начальника, которого, возможно, специально назначили в дополнение к Штанглю, а уже в дополнение к Францу назначили опытного «фельдфебеля» Кюттнера. Лялька нужен для репрезентативности, для чрезвычайных и крупных событий. Забота Легавого-Кюттнера – повседневное течение производства. Его глаза заглядывают одновременно во все уголки, он пронесится мимо мастерских, избивает кого-то до крови, потому что тот слишком медленно двигается, а через мгновение его плетка уже со свистом опускается на людей в «бараке А». Больше всего ему нравится направлять удар в лицо, чтобы получился громкий чавкающий звук. Все его движения – и слова тоже – резкие, судорожные, что отличает его от подчеркнуто спортивного поведения Ляльки. По профессии Франц повар, по виду и повадке – импозантный шеф-повар. Кюттнер при нес в Треблинку весь багаж своей предыдущей жизни: говорят, он был полицейским или тюремщиком.

Унтершарфюрер Август Вилли Мите появляется беззвучно, как привидение, там, где кто-то из пронумерованных, проштампованных больше не может, не в состоянии изображать, что он здоров и полон сил. Его нос, да и все лицо немного скошены набок. Длинные ноги несут короткое туловище и емного вразвалочку. Фуражка – или пилотка – сдвинута на затылок, из-под нее видны гладкие белокурые волосы. И рыбы глаза – как будто они тебя утешают: «Ну, идем, идем, скоро ты уже отдохнешь. Но только иди передо мной покорно, как ягненок. Иначе я начну кричать фальцетом и покажу тебе, что я знаю свое дело даже лучше, чем элегантный Франц или «фельдфебель» Кюттнер. Для него недостаточно одного прозвища. Этот тихий убийца и уборщик «отходов» Треблинки имеет несколько: по-чешски «кроткий стрелок», на идиш «дер крумме коп» (кривая голова) и самое выразительное – на языке Библии: «Мал'ахамавет» – «ангел смерти», потому что его царство – «лазарет».

Всегда какой-то неряшливый и всклокоченный, Вилли Ментц, с черными усиками под носом, как в гражданской жизни, так и здесь стоит намного ниже Мите. Дома он разводил коров, а здесь он – стрелок номер 2. Его дело – повседневный, рутинный расстрел в «лазарете», когда поступает новый эшелон. Он стреляет и стреляет, еще и еще, даже если иногда предыдущий падает в огонь только раненым, а не убитым. Грязная работа.

Мы выяснили, что примерно раз в шесть-восемь недель какая-то группа получает отпуск. Первый, кто замечает, когда они начинают собираться, – Руди в своей швейной мастерской. Потом это замечаем и мы, по бараку готовой одежды.

Унтершарфюрер Пауль Бредо, начальник «барака А», приходит к нам в бокс «мужские пальто, I сорт». Он двигается скользкой походкой, как по паркету, словно на нем все еще надет фрак официанта, который он носил до войны. И он приводит с собой редкого гостя, шарфюрера Пётцингера из соседнего второго лагеря.

– Показывайте, уже что-нибудь нашли? – начинает Бредо.

Вот так он уже неделю приходит в наш бокс. Он хочет «роскошное» и «безупречное» пальто. Каждое он тщательно проверяет, не обтрепано ли оно на воротнике, на карманах, внимательно рассматривает подкладку. Он хотел бы что-нибудь клетчатое, можно с поясом. Безо всякого смущения он передает свою плетку Пётцингеру, который пока что наблюдает за происходящим. Во время примерки Бредо всегда поднимает воротник так, что он достает до длинных бакенбардов. Они, да еще усы, вероятно, компенсируют ему отсутствие волос над мясистым, бледным лицом.

Пётцингер немного медлит, прежде чем начинает примерку, потому что понимает, что для его большой коренастой фигуры будет трудно подобрать что-нибудь подходящее. Когда он подходит совсем близко и наклоняет голову с выбивающимися из-под пилотки курчавыми волосами, чувствуется исходящий от него удушливый сладковатый запах второго лагеря. У него грязные сапоги и немного помятая форма. На той стороне, откуда он пришел, все время идут земляные работы. Даже эсэсовцы, служащие там, не могут так следить за своей элегантностью, как их коллеги здесь.

В конце концов оба останавливаются на одном и том же пальто. Каждый начинает убеждать второго, что тому пальто не годится, одному оно мало, второму велико. Унтершарфюрер Бредо, как начальник барака готовой одежды, мягко одерживает победу над шарфюрером Пётцингером. Сцену прерывает появление высокой фуражки Кютнера-Легавого.

Бредо приказывает мне отнести после обеда пальто в швейную мастерскую, где его должны будут отутюжить, а он потом сам его заберет. Оба уходят и беззаботно шагают навстречу Кюгнеру.

Ни Матгес, начальник производства второго лагеря, ни Кютнер не могли бы позволить себе ничего подобного, чтобы не испортить свою репутацию.

– Сними все еврейские звезды, чтобы нельзя было и догадаться, что они там были. – Давид Брат из бокса напротив стоит за столом с табличкой «Мужские пальто, II сорт» и как раз обучает новенького. Голова Давида едва достает ему до груди, Давида вообще почти не видно рядом с ним. Новенький – толстяк с маленькими глазками и жесткими усами, его зовут Виллингер. Бригады на сортировке направили его сюда, после того как сыграли небольшой спектакль для своих «шефов» из СС. Это – начало большой игры, которая сейчас готовится. – Вынуть все из карманов, все осмотреть, прощупать, не зашиты ли в пальто деньги, золото, драгоценности. Видишь ящики, которые висят у каждого бокса? Туда потом бросишь все ценное.

Давид на секунду останавливается, потом продолжает особенно выразительно, на идиш это звучит «аз озер» (думай!), и, чтобы быть наверняка понятым, делает жест, означающий «оставить с носом».

– Ну, – Давид снова замолкает и меняет тон. – Что-то туда бросить надо. Вон те не могут вернуться совсем без всего. Движением головы он указывает на двоих, которые как раз в это время медленно идут по бараку. У них желтые нарукавные повязки с надписями «Золотые евреи», а в руках – маленькие чемоданчики. Несколько раз в день эти сортировщики золота и украшений делают обход всего лагеря, проходят через рабочие бараки, опустошают все ящики в каждом боксе, собирают найденные ценные вещи и возвращаются вниз на свое рабочее место, в «большую кассу», где они все это сортируют и упаковывают. И хотя сейчас чемоданчики

золотых дел мастеров наполняются далеко не так, как раньше, когда один эшелон следовал за другим, все равно в соответствии с приказом и распоряжением бригада «золотых евреев» регулярно совершает свои обходы. Так возникает и развивается «служба новостей»: между двумя лагерями поддерживается связь с «гетто» и мастерскими даже в рабочее время.

– Вот так надо складывать каждое пальто, потом перевязать по десять штук и сложить вот здесь в боксе. – Давид заканчивает свою лекцию. Потом я слышу еще слова «выборочная проверка». Это Давид предупреждает новичка, что здесь, в «бараке А», эсэсовцы проводят выборочные проверки особенно часто и основательно, и если все рассортировано и упаковано не безупречно, то это грозит «лазаретом».

Из глубины барака к нам доносятся предупредительные сигналы. Это идет унтершарфюрер Хиртрайтер. Между собой мы называем его «Зепп», так его зовут остальные эсэсовцы. Особая грубость отличает его темное лицо с выступающими скулами и толстыми губами, она прослеживается и в каждом его движении, в каждом слове. Он небрежно осматривает несколько пальто, скручивает одно, засовывает его себе под мышку и удаляется длинными ленивыми шагами, бездумно, по привычке продолжая бормотать:

– Работать, работать...

– С бабами этот тип – настоящий скот, – говорит Ганс Фройнд.

Следующий клиент – унтершарфюрер Карл Шиффнер, его лицо словно слегка припудрено. Когда он говорит, виден ряд золотых зубов:

– Ну-ка, дайте посмотреть, не найду ли я чего-нибудь приличного, – он бросает пачку сигарет на сортировочный стол. Еще три недели назад она не имела бы никакой ценности. Но теперь, когда эшелонов нет, сигареты снова в цене. Легким движением Шиффнер поправляет пилотку у себя на голове. Ногти на его руках ухожены, волосы гладко зачесаны, посередине – пробор. Он уходит, сложив и перебросив через руку пальто. Вроде бы он наш земляк из Тёплиц-Шёнау, немецкоязычной области в бывшей Чехословакии.

Дородный бургер, совершенно гражданский человек в форме и, вероятно, самый старый среди здешних эсэсовцев: унтершарфюрер Карл Зайдель. Он всегда разговаривает с нами в безличной форме: «Это унести, это – сюда, это – туда...» Но на этот раз он негромко обращается прямо ко мне:

– Если вы найдете приличное зимнее пальто...

Он сказал «вы», но «будьте любезны» он не сказал – или все-таки сказал? Господи, ну что же я не дал хотя бы этому промеж ног, почему я не накинул ему на шею пояс от пальто и не тянул, пока у него не выкатятся глаза, как у тех двоих, которых они голыми повесили за ноги перед кухней? И чего бы ты этим добился, кому бы ты этим помог? Остальные смотрели бы, и никто не двинулся бы с места. Тебе потом пришлось бы самому себя прикончить, чтобы тебя не схватили... Да, да, фантазируй и отводи душу, а сам ройся в куче и ищи. «Лучше всего темно-синее или темно-серое...» для начинающего сесть господина Зайделя с твердыми чертами лица и учтивыми манерами. В проходе между боксами в глубине барака появляются унтершарфюрер Гентц и шарфюрер Бёлитц.

– О, а вот эти клиенты наверняка ко мне, – раздаётся голос Ганса Фройнда из соседнего бокса с надписью «Женские пальто, I сорт».

На нем белое длинное по шиколотку пальто, из-под которого видны до блеска начищенные сапоги; в нем он кажется еще выше. Вокруг талии он повязал широкий пояс, на голову надел русскую меховую шапку. У шерстяных перчаток он отрезал кончики пальцев, чтобы было удобнее «сортировать». Для работы в боксе Ганс надевает еще белый халат. Говорит, что блохи гораздо меньше ползают по белому.

– Смотри-ка, сейчас они в «Бюстгальтерах и дамском трико». – Ганс не глядя прощупывает пальто, которое лежит у него на столе. Глазами, словами, да просто всем телом он следит за двумя фигурами в форме. И хотя он не может со своего места видеть таблички над отдель-

ными боксами, но он демонстрирует нам и себе, как хорошо он уже здесь ориентируется. – Да-да, господа, лучше всего мы начнем снизу, от «бюстгальтеров и дамского трико», дамские чулки у нас только в упаковках по пятьдесят пар, корсажи по двадцать пять штук, как тут и написано, мужские сорочки – по двадцать пять, мужские брюки – тоже, детское белье не интересует? Нет, эти идут главным образом ко мне. Гентц уже несколько дней пристает, ему нужна каракулевая шуба. Что-то придется ему все-таки дать. Они должны меня запомнить. Каракулевые, бобровые, ондатровые шубы, все для госпожи супруги унтершарфюрера и для шлюх тоже. Разве кто-нибудь в Великой Германии может сегодня конкурировать с фирмой «Ганс Фройнд, дамские пальто, Треблинка»?

Наверняка Бёлитц один не пришел бы. Вероятно, его уговорил Гентц. Если представить себе Гентца без эсэсовской формы, то, наверное, он мог бы быть вполне приятным смешливым парнишкой. Я представляю себе, как он швырнул сумку с какими-то школьными принадлежностями в угол, как он нахлобучил пилотку на светло-рыжие прямые волосы, застегнул мундир, ухмыльнулся своему мальчишескому, покрытому веснушками лицу в зеркале и при этом подумал: «Это будет забавно». А когда он приехал в Треблинку и с любопытством рассматривал все вокруг, он говорил себе и, наверное, говорит до сих пор: «Смотри-ка, как забавно».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.